

Александр Бутенко



ОЙ, ВСЁ

Александр Бутенко

**Ой, всё**

«Издательские решения»

**Бутенко А.**

Ой, всё / А. Бутенко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-909097-3

Предмет на сей раз таков, что не ухватишь: руки обжигает. И не посмотришь прямо: выжжет глаза. Писавший до сих пор о различнейших сторонах жизни, Бутенко теперь — о Той, что её прекращает — и делает её возможной. Да он и сейчас — о жизни. Только — на самых её краях, там, где просвечивает Иное. О том, как Жизнь и Смерть ходят кругами, всматриваются друг в друга, прорастают друг сквозь друга. Ольга Балла-Гертман, журналист

ISBN 978-5-44-909097-3

© Бутенко А.

© Издательские решения

## Содержание

Остановка	6
Ноги	8
Три рождения, одна смерть	12
Папа жида	14
Гольф – игра аристократов	20
Стрига хочет отомстить	22
Джинн	23
Кушай, Миша	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

## Ой, всё

### Александр Бутенко

*Плакала горько, утираясь кончиками платка, не видела дороги. И чем дальше отходила от тюрьмы, тем горячее лились слёзы.*

*Пошла назад к тюрьме, потом заблудилась дико в городе, где родилась, выросла, состарилась. Забрела в какой-то пустынный садик с несколькими старыми, обломанными деревьями и села на мокрой оттаявшей лавочке. И вдруг поняла: его завтра будут вешать.*

*Старуха вскочила, хотела бежать, но вдруг крепко закурилась голова, и она упала. Ледяная дорожка обмокла, была скользкая, и старуха никак не могла подняться: вертелась, приподнималась на локтях и коленях и снова валилась на бок. Чёрный платок сполз с головы, открыв на затылке лысинку среди грязно-седых волос; и почему-то чудилось ей, что она пирует на свадьбе: женят сына, и она выпила вина и захмелела сильно.*

*– Не могу. Ей-же-Богу, не могу! – отказывалась она, мотая головою, и ползала по ледяному мокрому насту, а ей всё лили вино, всё лили.*

*И уже больно становилось сердцу от пьяного смеха, от угощений, от дикого пляса, – а ей всё лили вино. Всё лили.*

#### **Леонид Андреев, «Рассказ о семи повешенных»**

*Плохие люди прекращают делать зло, когда они уже в могилах. И люди, устающие от жизни, в могилах обретают свой покой.*

*В могиле даже узники свободны: они не слышат стражников, на них кричащих.*

*Да, эти злые люди львам подобны, которые найти не могут жертву. Они умрут – их дети разбредутся.*

*Конец мой близок. Дай мне покой и одного оставь. Дай я порадуюсь остаткам жизни пред тем, как отойду туда, откуда нет возврата, – в пространство темноты и смерти.*

*Дай я порадуюсь остаткам жизни пред тем, как отойду туда, где видеть никто не может, – в места теней, печали, темноты. Туда, где тёмно даже свет.*

#### **Книга Иова**

© Александр Бутенко, 2018

ISBN 978-5-4490-9097-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Остановка

– Мужчина, просыпаемся, скоро Орёл! — в спину невежливо стучит острый женский кулак.

Секунды навсегда хоронят мозаичный сон. Удивление – оказывается, успел заснуть. А казалось, что просто лежал, поджав на верхней боковушке ноги. Смотрел в мутный плафон.

За окном зимние огни, красные и синие светофоры, жёлтый чай фонарей.  
Весь снег покинул небо, залёг, как в Прибалтике русский оккупант.  
Пять утра. Февраль.

На жизненном пути плацкартного вагона в проход выпали руки, ноги, простыни, чемоданы, головы, раскаяния и возмездия.

Одиночный храп справа, позвякивание стакана слева. Шёпот проснувшихся, фигуры ковыляют на свет, неся, как нелюбимое дитё, охапки скомканной постели.

Я в Орле выхожу не один. С лёгким злорадством, но больше с благодарностью, озираюсь — кто ещё?

Выход в чёрную зимнюю ночь сближает, наполняет солидарностью, брезгливой радостью коммуны.

Сейчас мы покинем борт, отчалим, как пионеры галактики, в холодный орловский космос. А остальные останутся ворочаться в духоте вагона.

Я смотрю на тех, кто выходит, и с изумлением отмечаю полнейшую несовместимость Орла с теми, кто готовится в него войти.

Вот мужичок. Я легко представлю его в гламурном глянцево-журнальном.

«А сейчас интервью с британским дизайнером Уильямом Джейкобсом — пространство в стиле ню ню. Просто добавь обезьянью лапку».

У него бритая голова, галантные манеры. Всё, что он делает – изящно и со вкусом.

Мощный станок модных очков на носу — чёрная роговая оправа.

На плечи ложится кричаще-оранжевое пальто. На ногах ослепительно синие брюки, попадающие в тон носки. Итальянские туфли.

Он поднимается, сын Альбиона, накидывает двумя кругами на шею, как разомлевшего питона, тяжёлое красное кашне.

Идёт к выходу. В его гомосексуальной походке есть что-то восхитительное – сам Стиль спустился в брэнность пространства.

Вот молодая пара.

Худющий, красивый юноша — я не стал бы с ним состязаться в декламации стихов Бодлера.

Узкий зад, астеничные руки.

Пуля для Валентина. Гот, вино и летучие мыши под сводами замка.

С ним подруга — крашенные в раду-гу волосы, едва заметные холмики груди под свитером.

Шапочка с беличьими ушками.

Её глаза потусторонние — словно наркотик навсегда расширил зрачок.

Они красивые настолько, что не должны жить. По крайней мере – долго.

Когда-нибудь они спрыгнут вместе со скалы, взявшись за руки. Или исполосуют вены, лёжа в одной ванне.

Но это будет потом. А сейчас — они поворачиваются, идут на свет тамбура.

Фиолетово-зелёные косички и пряди рассыпались по плечам.

Я боюсь приблизиться — слишком хрупка эта красота, как чудесная нарнийская бабочка.

Тронул медвежьей лапой — и сломалось ломкое крылышко.

Вот иудей.

Он очень высокий. На идеально белой рубашке — будто не он провёл на плацкартной полке ночь — чёрная жилетка, с иголки, будто только что из-под утюга.

Он надевает пиджак, становится во весь рост, и поля его чёрной шляпы закрывают свет.

От него пахнет Торой, в нём чувствуешь ладан. Его спокойствие — глаз Яхве.

Исчезнет и этот поезд, и Орёл, и я, и мы все. Умрут эти страницы — а глаз Яхве всё так же будет смотреть.

Мне хочется подойти, сказать ему что-нибудь ласковое, но я не знаю, что. И уж тем более — зачем. Наверное, только лишь затем, чтобы он сказал что-то ласковое мне в ответ.

Ему я поверю. Никому не поверю. Себе не поверю — а ему поверю. И он это прекрасно знает. Может, оттого и молчит.

Грюкнули рундуки. Постой, паровоз, не стучите, колёса.

Проводница похожа на ловкий буфет. Она протирает тряпочкой заиндевелую ручку. С ожесточением бьёт ногой в ступеньку — и вдруг перед выходом в космос из вагона выпадает трап. Лестница в небо.

Я смотрю на британского дизайнера, на хрупких отрока и отроковицу. На глаз Яхве.

Мне хочется говорить им что-то пылкое, убеждать, что не надо вам сюда. Вы ошиблись остановкой. Не здесь вам место.

Здесь вера отцов и звонок на работу, сквозь вертушки проходных.

Опомнитесь! Окститесь! Не надо вам сюда!

Я-то сойду — да я давно пропащий. А ваша судьба — нешто она тут?

Клокочет и закипает градус бесплодного, неверуемого пророчества. Кассандра, отчаявшись докричаться, просто падает ничком на ящик Пандоры. Не пустю!

Но ни звука не слетело с моих уст.

Я навсегда прощаюсь.

Закрылись чужой спиной перламутровые волосы. Исчезло красное кашне.

Толпа, многоголовая вошь, вползла в иней подземного перехода.

Исчезла, растворилась в туннеле чёрная иудейская шляпа.

## Ноги

Первое время, как переехали в Москву, жили с отцом в общежитии на Нарвской — скудной простоты панельная девятиэтажка, равноудалённая от всего.

За сплошным бетонным забором парк туберкулёзного диспансера, безлюдный днём и непроницаемо чернильный ночью.

По другую сторону зелёные коробки гаражей, скелет яично-жёлтого «Запорожца». За ними дымящие цеха фабрики, за пыльными стёклами которых смутно угадывались фигурки.

Поодаль — поле кладбища и гладь Головинского пруда.

Было тревожно и грязно, как везде в Москве начала 90-х.

Серый снег никуда не утекал. Все носили одинаковые пальто. И шапки, которые дома, дабы держали форму, распяливали на алюминиевой кастрюле.

Мы жили в бывшей Ленинской комнате — когда заселялись, там были разбросаны по полу листы с сеткой букв печатной машинки, а посреди стояла разохшаяся трибуна.

Её выволокли на помойку, поставили кровать.

Похабно вlepленную в середину стены дверь, напротив коммунальной кухни, прикрыли шкафом, сделав подобие прихожей.

Уютно заурчал холодильник.

Напротив кровати телевизор, видеомагнитофон и штук тридцать видеокассет — новые фильмы писали на Союзмультфильме, принося чистые кассеты.

Для меня был единственный боевик — «Коммандо». Засмотрел до дыр. Даже подсчитал точное число лично убиенных Шварценеггером, не считая безымянных жертв массовых взрывов — 87, кажется.

Мы жили на 8-м этаже, на краю коридора.

В близкой кухне извечно звенели тарелки, громыхали чугунные сковородки, рассказывались анекдоты, хабалисто смеялись бывшие интеллигентные люди.

Я знал каждый этаж.

Наш, 8-й — продуваемый, в серых тонах, просматривающийся насквозь.

9-й — более тяжеловесный, пропахший краской и деревом, там склад поломанных велосипедов.

На 7-м извечно гремело радио.

На первом этаже был гостиничный холл — с пыльными кашпо, декоративной решёткой, продранными креслами из кожзама с оранжевым поролоном из рваных ран. Как великое языческое божество, холл венчал телевизор.

На входе небольшой лоток — туда сносили письма. Дежурная педантично раскладывала их в разные стопки — по этажам.

Я рвался на баррикады — за Ельцина.

Брюс Ли сказал как-то, что нужно всегда бороться за правду, и меня, впечатлительного мальчика, это зацепило.

А то, что Ельцин — за правду, так в этом не было никаких сомнений.

Но на баррикады попасть как-то всё не удавалось.

Каждый день я думал – ну, вот сегодня точно пойду.

Но как-то наваливались быстротечные детские дела, одно, второе — и уже вечер. Зажёгся единственный на Нарвской фонарь, по потолку от проезжающих машин ползут тени. Как-то уже и поздно на баррикаду идти, по темени и бездорожью.

В общаге жили дети — и я был одним из них.

Мы валили шумные коридорные игры. Перестрелки из пластмассовых пистолетов, прятки.

Мест, где можно спрятаться, было мало — очень уж примитивно организовано пространство.

Но спасало то, что в здании две лестницы и два лифта – и можно было убегать по разным этажам, забегая, при ловком манёвре, в спину ищущему.

На кухне спрятаться негде. Но можно в умывалке (с удушливым запахом раскисшего мыла), переходящей во влажную душевую с отбитым кафелем. И в туалете, с рядом крашенных белых кабинок, в которых ворчали пожелтевшие бачки.

Я умел прятаться. В скудном выборе очевидных мест знал все схроны.

Знал, что в душевой, откуда никогда не выветривался пар с запахом плесени, есть небольшое место, где можно втиснуться у труб. Что на лестницах легко спрятаться за дверь.

Я мог находить такие места везде и очень гордился этим.

Мало кто мог сравниться со мной, когда играли в диверсионную войну, где исключительно важно умение незаметно подобраться как можно ближе. Или в банальные прятки, когда меня могли искать, при моем желании, вечно.

И ничего от моего взора не убегало.

Я знал, кто кому с кем изменяет — просто это не возбуждало во мне особого интереса. Тем более, что не по страсти оно было, а от скуки.

Знал, кто, вопреки всем просьбам, продолжает тайком курить на лестнице. Кто подворовывает чужие макароны.

Лишь одно место оставалось для меня недоступным — с лестничной площадки 9-го этажа уходила пожарная лестница на крышу, к лифтовой шахте, закрытая с одной стороны металлической сеткой.

На люке, обитом железными листами, всегда висел замок.

Однажды я бесцельно шатался по коридорам нашей пропахшей подсолнечным маслом общаги.

Родители на работах, дети в школах и садах.

Прокатился в тёмном лифте с чёрными щёлкающими кнопками. Посидел на подоконнике, глядя в бесконечно провинциальный, занесённый снегом мир.

А когда забрёл на холодную, безлюдную лестницу, бросил взгляд вверх и увидел — замка на люке, ведущем к шахте и на крышу, нет.

Подобрался, удивившись редкому шансу.

Пожарная лестница гремучая, как гром в театре. Чтобы не беспокоить никого, забирался по ней медленно, аккуратно ставя ногу на очередную металлическую ступень.

Люк оказался тяжёлым, а помещение за ним, голая бетонная коробка, тёмным — дверь на крышу и в моторный зал закрыты.

Я подпёр люк собственной спиной, хотел уже влезть весь, но вдруг увидел что-то странное, лежащее на полу, в метре от меня.

Когда я разглядел, что это, то в одно мгновение похолодел до заиндевания, а сердце замерло — это были отрубленные человеческие ноги.

Точнее, не ноги, а лишь ступни.

Они были обескровленные, уже начинающие синеть.

Прямо в ступни, как протезы, были вставлены две палки. Палки и отрубленные ступни связывали какие-то грязные, жёлтые бинты.

Не меньше, чем ужас, меня охватило и изумление — зачем? Зачем делать подобную конструкцию?

Я, начитавшись сказок про одноногих моряков, мог себе представить, как ходить на деревяшке вместо ноги. Но как ходить на отрубленной ноге, насаженной на деревяшку?

Я пулей исчез. Хлопнул люк, прогрохотала лестница.

В считанные секунды я вбежал, никого по пути не встретив, в комнату.

Всё так же уютно урчал холодильник. За окном застыл неподвижный день, упавший на парк тубдиспансера.

В видеоманитофоне всё ещё торчала кассета с «Коммандо» — утром смотрел, забыл вынуть.

Кто?

Кто отрубил ноги? Кто их положил там, в бетонной конуре, сделав эти жуткие ходули?

Я думал, что я вижу всех в нашей насквозь прозаичной общаге.

А оказалось, что кто-то легко меня провёл, оставшись незамеченным.

Кто?

Я смотрел на людей и подозревал. Примеривал на каждого — вот он, рубит и отрезает чьи-то ступни. Сидит, прикручивает их, сопя под нос от усердия.

Грустный грек Янис, жарящий картошку? Нет, вряд ли он.

Дядя Валера, нечистый на руку мент, любящий выпить? Нет, тоже не он. Слишком прост.

Перебрал каждого. Но я и до сих пор уверен — это был кто-то иной.

Возможно, он видел меня — а я его не видел.

Я осмелился вновь дойти до пожарной лестницы лишь через пару дней.

Странно, но мне не пришлось долго собираться с духом, прежде чем я вновь открыл люк, подперев его спиной.

В бетонной комнатке никого и ничего не было.

Лишь пыльные стены очень контрастировали с серым, цементным полом, который тщательно протёрли тряпкой.

Через какое-то время на люке вновь появился замок.

А ещё через какое-то время мы уехали, и больше я в эту общагу не заходил.

Как и очень многое в моей жизни, она исчезла из моей жизни бескровно и резко. И в детстве-отрочестве больше не появилась.

Несколько раз я лишь проезжал мимо неё, бросая взгляд на крайнее окно восьмого этажа.

В округе ничего не изменилось. Лишь построили новый Коптевский путепровод.

А по недалёкому железнодорожному транспортному кольцу пустили метро.

## Три рождения, одна смерть

У моего деда было три даты рождения.  
Он родился 26 декабря 1926 года.

Настала война, на момент её начала ему было всего 14 лет. Даже в военное время таких не брали.

Но в 1943-м году сгорели все документы, и дед каким-то образом приписал себе два года, когда восстанавливал.

Потом это вскроется, данные переменятся, но на тот момент это сработало для того, чтобы пойти добровольцем — в свои 16 лет.

Поскольку всё равно документы менялись наново, дед решил выпендриться. Чего, мол, де, у меня дата какая-то никакая, ни к селу, ни к городу — 26 декабря. Даже ассоциаций ни одной. И указал в новых документах другую, более знатную дату — 7 ноября, день Октябрьской революции.

Год рождения ему потом в документах вернули, но дата осталась.  
И зажил дед под второй датой рождения. С ней же прожил всю жизнь.

Третья дата рождения появилась у него, символ на символе, после смерти.  
Заказывали могильный камень. Писали в бланке необходимые для выбивания даты.  
И ноябрь, как месяц рождения, написали неразборчиво, небрежно, двумя штрихами — П.  
А мастер решил, что это римская двойка, то есть февраль, так и выбил.  
Заметили это позже, когда камень уже был готов. Решили не менять, особенно зная лёгкое отношение к датам самого деда.

На его могиле, на кладбище города Димитров, Донецкой области, ныне внезапно переименованного в Мирноград, так по сей день на могильном камне и указана дата рождения как 7 февраля 1926 года.

С каждой новой датой дед словно вырослел.  
Родился под одной, жил под другой, умер под третьей.

Умер он в 1993 году, от рака поджелудочной железы.  
За полтора месяца до его смерти, это был поздний ноябрь, бабушка шла по двору мимо летней кухни, уже закрытой на зиму, и вдруг увидела на окне что-то странное, словно его грязью изнутри заляпали.

Около того окна было как раз дедово место, он там обычно сидел, читал газеты, пил брагу. Его, проходя по двору, всегда можно было там заметить. Я ему махал, а он корчил озорные рожи.

Бабушка растворила кухню, подошла к окну, сдёрнула с него ткань, а всё стекло жирным слоем кишит мухами.

А это поздняя осень, мухи сонные, вялые, и вообще неизвестно, откуда они в таком количестве взялись — их и жарким летом столько никогда не бывало.

Жуткое зрелище. Бабушка взяла плотную ткань, долго давила мух на окне. Потом отмыла неровное стекло, косо схваченное замазкой.

Деду ничего не сказала — а он уже во двор сам и не выходил.

Не сказала, потому что в этих местах, даром что это пролетарский, обделённый предрас- судками Донбасс, нет вернее приметы — к покойнику. Страшно было о таком сказать.

В ночь, когда дед умирал, он совершенно точно чувствовал, что это всё.

Говорить не мог, что-то нечленораздельное бормотал и злился, что бабушка не понимает. Потом он плакал. А потом собрал все силы на одно слово — «уйди!».

Бабушка вышла. Он затих.

Когда вернулась, уже был мёртв. Отчего-то пожелал уйти в одиночестве. Смерть — слиш- ком интимный акт.

Было это в ночь с 7 на 8 января. С тех пор для меня православное Рождество — это скорее поминальный, скорбный день.

Похоронили тихо. Слезы не шли.

Бабушка стала более задумчивой. Начала разговаривать сама с собой, не замечая, что говорит вслух.

Однажды мы вечеряли, она сидела задумчивая, пила кисляк. Потом вдруг в такт своим мыслям неожиданно и удивлённо произнесла: «А ведь он оттуда уже не выберется».

И я не стал ни о чём переспрашивать, точно догадавшись, о ком это она.

Для меня самого смерть деда в полной мере ещё не осозналась. Была чем-то абстрактным, странным.

Уже много позже смерти, когда сошёл снег и заколосилась жизнь, случились две симво- личные приметы.

За двором был вишнёвый и яблоневый сад. Одна из вишен росла неудобно, уходила вет- вями на сарай. А урожай с неё был щедрый.

И её традиционно обирал дед — лез на крышу сарая, аккуратно там балансировал с ведёрком.

И ещё была его яблоня — он её посадил, он за ней ухаживал.

Оба этих дерева засохли. Одни из всего сада. Предыдущим летом дали обильный урожай, но уже на следующий год без видимых объективных причин засохли.

Отправились вслед за тем, кто их любил, не в силах снести разлуку.

Только тогда, когда я залез на сарай и спилил засохшую вишню, только тогда вдруг во всей полноте в меня окончательно легло страшное осознание — деда больше нет. И его больше не будет.

Он мог родиться не три, а больше раз. Но умереть по-настоящему можно лишь единожды.

Я стоял у деревянной стены сарая, с пилой в руках, и ревел, потеряв счёт времени.

## Папа жида

Моему брату не свойствен взрывной нрав, но однажды в детстве он столкнулся с оскорбившей всю его душу несправедливостью — случайного дворового знакомого, которому он со взаимностью симпатизировал, принялись травить на уличной детской площадке и кликать жидом, которому нужно куда-то там убираться, не расслышал куда — не то в Борисполь, не то в Бровары, а то аж и в сам Васильков на кулички.

Дальше насмешек не зашло, потому что объект их травли, Борька, хоть и обладал классической внешностью еврейского подростка, чёрными глазами, кудрявыми волосами и впридачу рассудительным картавящим слогом, был не по годам развит, выше обидчиков на голову, занимался единоборствами и вполне мог за себя постоять — чего мой брат, кстати сказать, не мог.

Тем не менее, Женя совершенно рассвирепел, встал на Борькину защиту, а поскольку злой детский гомон продолжался, они ушли из двора вместе.

Женя предложил зайти к нам, Борька согласился.

Нам, и мне, и родителям, он сразу понравился — церемонные манеры, вежливость под стать английскому джентльмену, глубокий еврейский пиетет перед фигурой матери и вообще, уважение к женщине — что очень дисгармонировало с общим нравом тогдашней Троещины, криминального и люмпен-пролетарского района на отшибе Киева, с его детским матом, кислым винным духом и клетушками-дворами.

Да и сегодня, хоть и былая отморозенная слава померкла, но присказка осталась — «жизнь дала трещину, переехал на Троещину». Локальная памятка-страшилка, маргинальное клеймо.

С Борькой было интересно.

То ли в тот же раз, то ли в какой-то последующий, за Борькой зашли родители, разговорились с моими, и вскоре, благодаря дружбе сыновей, мы быстро задружились семьями.

Мать его, тётя Наташа, была женщиной красивой, и мне казалось невероятно на то время модной — широкие солнцезащитные очки на лбу, как у немецких порнозвёзд, джинсовый комбинезон, театральные жесты руками и очень богатая мимика, придававшие всему ею сказанному сценический драматизм.

Отец, дядя Миша, был кругловатым, лысоватым, большим и с очень громким голосом. Любыми разговорами мгновенно увлекался, и его раскачивающийся бас начинал шевелить стены.

Тётя Наташа грациозно поворачивалась к нему в такие моменты всем корпусом, зажигала в глазах возмущённый огонь и обрушивалась тирадой: «Миша, ну шо ты уа-ва-ва-ва-ва!», и махала изящной ладошкой у рта.

Выходило похоже.

Я брата и Борьки был моложе на пять лет, поэтому чаще всего они куролесили без меня — ходили на помойку, откуда таскали мальчишеские сокровища, вроде стеклянного кристалла из разломанного (явно пьяной семейной ссорой) цветного телевизора. Катались на велосипедах, тарыхтя на этих характерных киевских плитах уличных дорожек.

Но иногда брали и меня — Борька, со свойственной ему еврейской жизнерадостностью, относился ко мне серьёзно, посвящая в удивительные тайны.

Боря рисовал в кружке, ходил на карате, увлекался биологией – везде с равной долей успеха.

Слушал на бобинах русский рок, делился катушками. На вопрос о музыкальных пристрастиях солидно выдавал малодоступные широким массам таинственные словеса – «Аквариум», «Кино», «Машина Времени».

Я всегда с влюблённой детской радостью слушал его добродушный воркующий голос – вот он рассказывает, как не любил в детстве есть цветную капусту, а мама ему сказала, чтобы он представлял себя Гулливером в стране лилипутов, наломавшим на обед деревьев. Вот он бесстрашно выгоняет руками испугавшую нас осу, параллельно излагая очерёдность действий по обработке укуса – на всякий случай, вдруг его рядом не окажется.

С Троещины мы уехали на Харьковский массив, тоже на то время дикую околицу, но часто взаимно ездили семьями в гости.

Договаривались порой сильно заранее, и я в истоме предвкушения считал в календаре дни до того дня, когда мы все сядем в отцовскую Ниву, поедem тропами Левого Берега на далёкую Троещину, чтобы оказаться вновь в облаке обаяния этой столь не вяжущейся с Троещиной семьи, живущей на проспекте Оноре де Бальзака – тоже невесть с какого перепуга на Троещине повенчанного.

Я знал, что они евреи, но для меня это была совершенно бесполезная информация – я ничего не знал о национальностях.

Кроме того, в тогдашнем Киеве евреев жило много, это не было для меня экзотикой – прямо вот этажом выше, например, семья. Мы тоже поддерживали не сколько дружеские, сколько крепкие приятельские отношения.

Главу семьи, Алика, мы звали кроликом – за передние зубы и какие-то совершенно мультипликационные заячьи глаза, и я долгое время думал, что это такая фамилия, Кролик. Алик Кролик.

А его дочка, Аня, меня любила – брала за руку, сажала с собой на одну лавочку, когда смотрели телевизор, прижималась бедром. Я очень стеснялся, краснел и пунцовел, не знал, что с этим делать, но было очень лестно. И томяще.

Менялись времена, и я как-то неожиданно узнал, что практически все знакомые евреи вдруг собрались уезжать – и почему-то все в одно место, в какой-то неизвестный Израиль.

Я неплохо знал географию Киева и окрестностей, но местоположение Израиля было мне неведомо, из чего я заключил, что он, вероятно, очень далеко – куда-то, скорее всего, в сторону Житомира.

Я спросил у матери – а зачем им туда?

Не помню дословно, что и как она ответила, но общий смысл сводился к тому, что здесь не их страна, а там их. И тут им живётся плохо, а там будет житья лучше.

И были бы мы евреями – тоже бы поехали туда, где лучше.

Я был умным ребёнком, но всё равно, это было мне решительно непонятно – а чем лучше? А что плохого здесь?

А почему здесь они чужие? Ничего не чужие, живут себе и живут, как все – что же тут чужого?

Фактор неведомого Израиля и странного, массового мучительного желания туда уехать вдруг закрался в бытовое положение дел, заставил на себя оглядываться.

Сперва уехали Кролики.

Мама зашла ко мне в комнату: «Пойди, попрощайся с Аней».

У подъезда стояло такси, тархтящая 24-я Волга с шестиугольниками задних фар. Дядя Алик, моргая заячьими глазами, наседавал всем телом на норовистую корзину, мешающую закрыть переполненный багажник.

Аня, тёмно-синее платье, ужасные советские детские колготы, большие очки, кудрявые чёрные волосы – очень непосредственно взяла меня за руки, чуть сжала их и сказала всего одно слово: «Прощай».

Я покраснел. И как-то вдруг в первый раз заметил, что она некрасивая. Обаятельная, но некрасивая.

С каким-то совершенно новым, странным, острым, тоскливым чувством я стоял у подъезда.

Двери захлопнулись, зажглись красным задние огни, Волга уплыла.

Мелькнула позади макушка Ани, чёрные кудри и лежащая на задней полке совершенно неуместная, глупая, бесполезная соломенная шляпа.

Кроликов я больше не видел.

Однажды они позвонили, сказали, что устроились в Хайфе.

Связь была плохая, и она прервалась в какой-то момент. Больше не перезвонили.

С тех пор что-то странное, недетское поселилось во мне. Я вдруг остро и ясно почувствовал, зачем эти люди едут в какой-то неведомый, непонятный Израиль.

И мне вдруг захотелось тоже одним деньком сесть в такси, нагрузив багажник нехитрым скарбом, и тоже уехать в Израиль – в последний раз взглянуть на высотную коробку дома, провожающих, двор, клумбу, школу.

Я остро ощутил, что среди уезжающих мне будет лучше, чем среди остающихся.

«Мам, а мы можем тоже уехать в Израиль?» – спросил я как-то, томимый задумчивостью. «Нет, – ответила мама, – мы же не евреи».

В тот момент я, кажется, понял и наконец-то решил для себя: евреи – это те, у кого есть Израиль, в который они могут уехать.

А я не еврей. И мне ехать некуда.

О том, что Борька, тётя Наташа и дядя Миша тоже собираются уезжать в Израиль, я узнал как-то поздно и случайно – они уже целый год, оказывается, ходили на курсы языка, продали дачу и квартиру родителей в Белой Церкви.

Иврит старшим давался трудно, а Борьке, уже тогда великолепно говорящему по-английски, легко. Он, возмужавший, выросший, с нелепой чёрной щёткой первых усов, легко произносил какие-то длинные, шикающие и картавящие фразы, из которых я не мог различить ни слова.

Была назначена дата, когда они, как и Кролики, выйдут из дома, сядут в такси и уедут в аэропорт, и мы не увидим их больше нигде и никогда, потому что у Израиля оказалась совершенно странная особенность – оттуда не возвращаются.

Буквально за месяц до отъезда у них случился переполох, дядя Миша, всё время тративший на походы по каким-то кабинетам, получение каких-то бумажек, вдруг объявил –

есть совершенно уникальная возможность уехать по какой-то непонятной квоте не в Израиль, а в Германию. Решать нужно сейчас, немедленно.

Они, бледные, напряжённые, пережили с этим ночь, а наутро – позади Рубикон, впереди Ватерлоо – дядя Миша пошёл пробивать новоявленный вариант.

В Израиле были родственники и худо-бедно выученный иврит. В Германии не было ничего, и о ней ничего не было известно, кроме того, что там вчера в шесть часов поймали Гитлера без трусов.

Ехать в никуда и учить с нуля немецкий – за Борьку-то я не боялся, выучит, но старшему поколению было трудно.

За день до отъезда они пришли к нам в гости – квартира на Троещине уже была продана, оставались последние дни с вещами у знакомых.

Было весёлое, неожиданно светлое застолье – словно через неделю встретимся вновь, словно ничего не изменилось, словно эти напряжённые хлопоты по отъезду навсегда только приснились, были неудачной шуткой, розыгрышем, недоразумением, которое как-то хорошо разрешилось.

Борька сидел в нашей комнате, мы во что-то играли, смеялись.

Мысль о том, что Борьку я вижу в последний раз, как-то упорно отказывалась впихиваться мне в мозг. Я её впихивал, а она выпирала; заталкивал, как дядя Алик корзинку в багажник, а она оттопыривалась обратно.

У меня было моё детское сокровище – маленькая книжечка-брелок в жестяной оправе, из которой выпадала раскладушка фотографий достопримечательностей Киева.

Я её очень любил, но все-таки подарил Борьке. Он принял с благодарностью.

Тут кто-то пришёл – у нас вообще гостей было много, двери не закрывались, неожиданные визитёры были обычным делом. Раздался чей-то малознакомый голос.

«Кто там? – вскинулся Борька. – Мой папа пришёл, что ли?».

Почему-то в последнее время дядю Мишу я давно не видел – он был с головой занят неприятными хлопотами.

Я выглянул в коридор – как оказалось, это был он, но я его почему-то не узнал. То ли не видел давно, то ли темно было, да и голос его, это фирменное «уа-ва-ва-ва-ва», куда-то ушло, померкло за грустью перемен.

Я спутал его с отцом одного совершенно неприятного нам с братом персонажа, чьи (хоть и редкие) визиты мы воспринимали с отвращением.

И я повернулся обратно в комнату и сказал: «Не, это папа жида».

«Жид» в нашей дворовой детской среде было обычным ругательством, которое, что любопытно, как-то мало ассоциировалось с евреями. Жидом могли обозвать как за жадность, так и за глупость. Как за вредность, так и за трусость.

Обозвать жидом неприятного человека было в нашей локальной тусовке делом совершенно обыденным, никто не вникал в хтонические глубины словообразования.

Борька удивлённо на меня посмотрел, вышел в коридор, увидел отца и повернулся ко мне: «Ты что, Саш, это же мой папа».

И вот тут до меня дошёл весь смысл того, что я совершенно легкомысленно сморозил, и как это выглядит со стороны.

Говорят – «провалиться сквозь землю от стыда», вот это было именно то, что мне хотелось сделать.

Я панически начал тараторить, объяснять, что я ошибся, спутал, я имел в виду, что тут есть Игорь, говно-человек, и я решил, что это его отец пришёл, а не твой; что я не хотел обидеть, что это я глупость сморозил, что это не так и не то я сказал, и ещё десятки отчаянных аргументов.

Как же это ужасно, когда не можешь доказать невиновность! Когда, да ещё в вечер прощания, обижаешь такого замечательного человека, как Борька.

Последний вроде как не придал значения, и недоразумение забылось.

Я напряжённо смотрел весь вечер – точно ли ситуация закрылась? Точно ли не обиделся?

Мать приготовила вкуснейшее, моё любимое шоколадное желе – все заслуженно нахваливали, а мне не лезло в рот.

Наутро было такси, из их же двора на Троещине.

На металлической сетке, огораживающей баскетбольную площадку, раскачивался мерзкого вида пацан, одновременно наглый и жалкий, и монотонно картавил, припадая на «г» вместо «р»: «Бо-г'я – ев-г'ей. Бо-г'я – ев-г'ей». Держась, тем не менее, осмотрительно подальше – знал, что Борька бегают быстро и уже заработал по карате коричневый пояс.

Попрощались. Обнялись.

Такси уехало из двора.

Мы ехали домой в отцовской Ниве, я сидел сзади, в горле застрял ком. Ни выплакать, ни выхаркать.

Очень хотелось кому-то пожаловаться – но я не мог сформулировать и понять, на что именно.

Я чувствовал себя бесконечно несчастным. Будто весь мир устремился куда-то, в трудное, но благородное дело. Словно все вступили в какой-то новый клуб, а меня туда не взяли.

Они отзвонились скоро из Германии – доехали хорошо.

Потом отзвонились через несколько месяцев – трудно, конечно, но устроились – учат язык, Боря влился в школьный коллектив, возобновил занятия по карате. Тётя Наташа, благо что фармацевт, даже нашла работу по специальности.

Потом звонили через год.

Мать слушала, но новости приходили как сквозь вату – новости о другой, совершенно непредставимой жизни, в уже произошедшем погружении в другие реалии.

Нашли на помойке мебель – стенку, которая у нас в Киеве была бы верхом мечтаний за большие деньги.

А мать тщетно ездила по городу, пытаясь найти, где «выбросили» сыр.

Тётя Наташа с дядей Мишей развелись – оказывается, кроме общей цели переезда их мало что связывало, а Боря уже большой. Уже чёрный пояс, какой-то там дан получил. Выучил немецкий на уровне носителя языка. Не забыл английский и готовится поступать в Лондоне.

А нам это казалось диковатым – время наступило суровое, легче было выживать скопом.

Они оставили телефон, и иногда родители даже честно порывались им позвонить, но всегда что-то мешало. Не хотелось навязываться – ну что мы их будем, в их новообретённой Земле Обетованной, грузить какими-то нелепыми мещанскими проблемами?

Они, наверное, тоже теми же мыслями маялись.  
Наша Гондвана разошлась. Новые континенты было не склеить.

Когда однажды, прошло внезапно несколько беспокойных лет, родители таки набрали их номер, выяснилось, что они давно съехали – там жила какая-то другая, тоже русскоязычная, семья.

Съехали, и новых координат не оставили.

Я до сих пор мучаюсь незакрытым переживанием – обиделся ли Борька на «папу жида»? Крайне маловероятно, но неисповедимы пути Господни – если ты это вдруг прочтёшь, Боря, знай, это правда было совершенно дурацкое недоразумение. Я не хотел тебя обижать. Ещё раз извини.

Когда уезжали Кролики, Аня мне тогда сказала: «Прощай».

А я ничего не ответил, и, как оказалось, до сих пор всех вас несу в сердце, не отпустив.

Я попросил у Бори прощения за тот случай, это максимум, что я могу сделать, и больше мне незачем нести в себе этот груз.

Я отпускаю вас. Прощайте.

## Гольф – игра аристократов

Хутор поделён надвое железнодорожной веткой – мы знаем наизусть расписание всех пассажирских.

Больше всего нам нравится бакинский – он проходит нашу станцию, Кумылгу, в 22.57.

На нём иноземные надписи, он весь какой-то другой, непривычный, посланник иного мира.

В сельпо продаётся ситро и мороженое.

Пахнет степью и навозом. Изредка протарахтит мотороллер.

В чёрной ночи поют цикады. Я люблю смотреть в окно, в освещённое жёлтое пятно под фонарём.

Или лежать на диване, читать детективы, с их уютom викторианской Англии.

Хорошо в деревне.

На лавочке сидим мы, пацаны, ведём светские беседы. Грызём семечки, гладим Тузика.

«Пацаны, айда в волейбол!» – кто-то кидает клич.

Остаёмся только я и Дрюша. Нам лениво. Кроме того, мы старше остальных на целых два года, оттого ведём себя элитарно – то есть надменно. Негоже нам просто подрываться и бежать бучать мячик с какими-то деревенскими простолюдинами.

Субординацию блюсти надобно. Продолжаем степенно сидеть.

Простые хуторские удовольствия приелись. А ведь впереди ещё полтора месяца – и тогда уезжать от бабушек в большие города. Школа, поступления в институты, нелакомые образы взрослой жизни.

Поэтому мы просто сидим на лавочке и мечтаем о чём-то простом, незамутнённом, о чём можно мечтать только в светлой (как потом окажется) молодости – например, о том, как мы станем владыками мира и как переделаем наш скромный земной шарик.

Нас несколько раз зовут в игру. Мы гордо отказываемся, сославшись на то, что не царское это дело.

На нас в итоге машут рукой.

«Аристократы мы с тобой», – подытоживает Дрюша.

«Да уж, – соглашаюсь я. – Негоже аристократам играть в какой-то там волейбол. У аристократов свои игры – гольф там, например».

В моём сознании гольф – это самое тупое, но статусное, что вообще можно выдумать. Ходят какие-то кичливые люди, полчаса готовятся к удару, секунду бьют, потом ещё полчаса идут до мячика, потом ещё полчаса готовятся. На голове шапочка с помпоном.

Посмотришь на всё это, на каждого участника в отдельности – сразу видать, по меньшей мере наследный монакский принц.

«Эх, у нас тут и в гольф не сыграешь! – сетует Дрюша. – Ни клюшек, ни шарика».

Но тут мы бросаем взгляд на ещё один мяч, запасной – лежит под лавкой.

Он драный, с него висят лохмотья. Где он только не побывал за свою карьеру – то в лужу улетит, то в собачье говно.

На шарик для гольфа не похож совершенно, но в деревне спрос другой. Можно на многое, даже потомственным аристократам в первом поколении, закрыть глаза.

Так, теперь нужно найти клюшку.

В качестве чего-то хотя бы условно подходящего для клюшки нашлась только непонятного назначения арматурина, со сбитой краской, загнутая кочергой.

Мы попробовали сыграть в гольф – назначили лункой яму у столба и решили бить кочергой мяч по очереди. Кто загонит – того и тапки, ну то бишь выигрыш.

Бу-у-уц! Дранный мячик, получив от Дрюши кочергой, поскакал по вытоптанной гусями лужайке.

Бу-у-уц! Мячик улетел мимо столба – это уже косорукий я вступил в игру.

Вдруг разом открылась прелесть этой игры – оказывается, весь смысл в процессе. Именно вот в этой аристократической неторопливости, сопряжённой с гордым осознанием собственной значимости для человечества.

Не прерывая светской беседы, подойти, прицелиться, ещё поговорить, ещё прицелиться – и только потом – бу-у-уц!

Совершенно неважно, кто выиграет. Главное – само действие, общение двух джентльменов.

Мы, два пацана, троюродные братья в дурацких шортах, гоняли мяч кочергой по лужайке, периодически удовлетворённо друг другу кивая: «гольф – игра аристократов».

Компания волейболистов нас сперва высмеивала. Мы же гордо продолжали свою царственную игру, не устаивая взглядом.

Потом высмеивать перестали. Потом прекратился и волейбол.

Робко попросились к нам. Мы отказали.

Гольф – игра аристократов. Компания важнее спортивного результата.

На следующий день мы вышли на лавочку. В дальнем краю улицы компания упоённо гоняла грязный мяч кочергой.

Кажется, мы стали деревенским культурным авангардом.

## Стрига хочет отомстить

В детстве я писал продолжение трилогии про Незнайку. Называлась она «Стрига хочет отомстить».

Там, собственно, Стрига, чувак, с которым Незнайка повздорил на Луне в каталажке, вознамерился найти Незнайку и убить, дабы поквитаться с ним за утерянные сантики, на которые картошки накопили.

Он сумел долететь до Земли, разыскать Незнайку, который таки тяжело заболел и гадил под себя в психиатрической лечебнице, хотел его оттуда выкрасть, но у него не получилось, и вместо всего задуманного там на много листов детальное описание драки – кто откуда прибежал, кто кого бил и чем.

Да, я понимаю, сюжетец натянут как гандон на глобус, но главное ведь экшн, писательское исполнение, верно? Во-от.

А ещё, точно помню, там был персонаж, альтернативный доктору Пилюлькину – доктор Клизма.

## Джинн

Рядом с нами, в нашем маленьком шахтёрском городке с видом на копры, жила баба Надя. Она была худой, неожиданно высокой старухой, словно годы не гнули её в клюку, а распрямляли, как сухой стебель, дабы однажды перешибить жарким августом.

Велосипед роговых очков на носу, шаткая походка, надтреснутый, почти кроткий голос.

Неладное выдавала лишь расплывшаяся синяя татуировка на левой кисти. Она когда-то где-то сидела, но за что, при каких обстоятельствах – этого никто не знал. И спросить об этом – не спросишь, хотя и было страшно любопытно.

Но как себе это представить? – «Баба Надя, а за что вы срок мотали?». Невежливо, право. У нас там много кто сидел, не по понятиям в былое лезть.

Баба Надя иногда напивалась в дымину. Речь становилась неразборчивой – она бесцельно ходила по улице, тонкая и страшная, качаясь в такт ветру, изрыгала клокочущие, торжествующие тирады.

Глаза слезились под очками, она по-детски тёрла глаз кулаком.

Смотреть на неё было жутко и завораживающе.

Походив, как умертвие, на рассвете, она неверной походкой удалялась в свой дом, такой же жутковатый, как и она сама.

Дом был неожиданно большой – заметно, что строился изначально на большую семью. Но, помимо самой бабы Нади, там жил лишь её сын, Леонид. И иногда оставался внук, Сашка.

Дядя Лёня был хромой. Он ходил, шаркаяще выворачивая ногу. Летом всегда без рубашки, обнажив нестарое, но запущенное тело. У него были русые кудри, прямо как в русских сказках у Ивана – дурака иль царевича.

Говорили, что ещё в детстве он откуда-то свалился, а сама баба Надя была пьяна и несколько суток даже не замечала, что он покалечился. А ещё что она так часто пила, что не могла кормить его во младенчестве молоком – кормящая соседка, годующая своего сына, Лёни ровесника, приходила кормить излишками из жалости.

Большой, не по семье, дом был запущенным. Бедность – шаром покати; всё, что можно было пропить – всё пропито. Голые неровные стены с сырой известью, трухлявый пол, под которым резвились крысы.

Спали на полу, на тряпье. Трещину в стене скрывал старый ковёр. На ковре фотографии – давно ушедший муж, о котором никто не знал абсолютно ничего. Сама баба Надя, кажется, не слишком уж могла припомнить, кто он и откуда взялся. Невестка – мать Сашки, красивая женщина, с чуть выпученными от испуга глазами. Асимметричное лицо, непослушные чёрные волосы – умерла, отравившись денатуратом.

И ещё Алексей, второй сын. Полная противоположность Лёньке – смуглый, черноволосый; орлиный нос, пронзительный, злой взгляд. Красивый, как демон.

Алексей был единственным непьющим из семьи. И единственным здоровым.

Его призвали в Афганистан, изредка он слал скупые письма из-под Кандагара, бледной пастой на тетрадном листке, царапающим почерком, а потом пропал без вести. О чём выслали короткую справку, напечатанную на печатной машинке.

Баба Надя погоревала день, но уже к вечеру напилась, а утром уже не слишком помнила, что когда-то у неё было два сына, а не один.

Зла соседям они не делали. Добра тоже.

Хотя дядя Лёня был мягким, как юродивый, и нежадным. Хороший рыбац – как-то выловил огромную щуку, так икру пожарил да просто так нам, пацанам во дворе раздал – вкусно!

Мы, злые дети, даже никогда не подначивали его за хромоту. Бабу Надю – бывало, издевались над ней. А дядю Лёню – нет.

Сашка, Лёнькин сын, рос беспризорником – по мелочи воровал, ходил в рваньё, в школе двоечник. Но в отца – весёлый, беззаботная такая нищая детская радость, когда нечего терять – и всё на свете тогда мило.

Мы как-то детской компанией рассказывали друг другу, кто сегодня что ел, чем родители да бабушки кормили – борщ, пироги, каша. А Мазила, ну, Сашка то есть, погоняло от фамилии, когда до него очередь дошла, просто так ответил, подперев подбородок худой рукой: «А я сегодня воду ел».

И даже нам как-то стало неуютно. А он ничего, безродное счастье, сорный корень, степная полынь, улыбается. Мы его семечками угостили, ими и пообедал.

В чём у этой семьи, в их большом, пустом доме, душа держится – совершенно было неясно. И откуда денег стабильно напиться находят, тоже неясно.

Баба Надя всё истончалась, вытягивалась, становилась похожей на штaketину.

Однажды внезапно вернулся из Афганистана Алексей. Худой, орлиный нос, тело, загорелое до черноты.

Кого война губит, а в него словно наоборот силы влило. Стройный, гибкий, злой. И – другой.

Ясное дело, что до войны и после один человек – это уже другой человек. Но тут было что-то совершенно иное – это не было человеком. Мы, дети, это чувствовали. Ни одна кошка, ни одна собака к нему близко не подходила, тоже чувствуя.

Когда слышишь по нашей деревенской улице безумный вой посаженных на цепь псов – можно было не сомневаться: Алексей идёт.

Вернулся не он. Вернулся какой-то восточный, пустынный демон, Иблис во плоти, шайтан Гиндукуша, джинн, принявший обличье Алексея.

Он мало что помнил из своей прошлой жизни. Не узнал никого из прежних дворовых друзей, которые, раз с ним поговорив, трусливо начали его избегать – дюжие мужики, шахтёры без предрассудков.

Баба Надя была пьяна и возвращение Алексея восприняла спокойно – ей в то время, кажется, уже совершенно не принципиально было, кто рядом – живые, мёртвые или демоны.

Показала Алексею справку о том, что он без вести пропал – тот криво ухмыльнулся, молча скомкал справку и выбросил в печь.

Никто не спросил его, что с ним было. Кто-то на улице попытался, впрочем, но он так посмотрел, что попыток не повторяли.

Алексей зажил вместе с ними в проклятом доме.

Ни с кем не общался. По ночам куда-то уходил.

Несколько раз мы пробовали за ним проследить, хоронясь в кустах, и каждый раз он словно растворялся, как дым, на ночной улице. Чтобы утром, как дым, материализоваться уже заходящим в дом.

Внезапно женился – Женю, его жену, никто доселе не знал. Она откуда-то с Гродовки, родителей похоронила. Переехали туда, в её маленький дом, и с тех пор в доме бабы Нади он появлялся редко.

Родился сын. А через два года пришла весть – погорели. Женя и сын сгинули в огне. А Алексей не ночевал – остался невредим.

Было дело, расследовали обстоятельства пожара. Но время было трудное – конец 80-х, начало 90-х. Не до расследований. Списали на несчастный случай, хотя следователей и смущало, что на пожарище стояла серно-аммиачная вонь, такая, словно химический склад сожгли, а не дом с летней кухней.

Алексей вернулся в дом бабы Нади. Не говорил ни слова. Лишь всё так же уходил по ночам, сопровождаемый воем собак.

Однажды бабе Наде принесли письмо, справка о смерти её сына Алексея, который пробыл в душманском плену много лет, случайно был найден и освобождён, но уже в госпитале скончался от какого-то хронического недуга, коим болел в плену, не получая медицинской помощи.

Тело его в цинковом гробу везли на Родину.

Баба Надя тупо вчитывалась в строки справки и сопроводительного письма, смысл которых упорно не доходил сквозь опьянение, когда пришёл Алексей. Вырвал из её рук письмо, пробежал его глазами, разозлился и также отправил в печь.

Ночью он ушёл, растворился, как обычно, в ночной улице, в неверном свете единственного фонаря, а утром не вернулся, и больше его не видел никто, нигде и никогда.

Могила его жены и сына оставалась нетронутой много лет, зарастая бурьяном. А потом кладбище переносили, строили рядом дорогу, и их останки перезахоронили в общую могилу.

Баба Надя очередное исчезновение сына восприняла спокойно. И быстро привыкла, что из детей у нее вновь только Лёнька.

Наступили 90-е, в наш городок пришла наркомания.

По огородам ходили люди, рвали датуру и мак. Когда мака не осталось на огородах, начали воровать из церковных дворов, где его была привычка по южной, донбасской традиции выращивать.

Убили попа, пытавшегося выгнать ночью из церковной ограды воров.

От ширева люди пошли вымирать десятками.

Я стоял на улице, смотрел, как в дом бабы Нади идёт торчок. Его глаза были стеклянные, у него было худое, измождённое и почти интеллигентное лицо.

Не видя дороги, он ударился лбом об бетонный блок, к которому жёсткой металлической проволокой обмоткой был прикручен деревянный столб с проводом через всю деревню.

Проволока вошла в лоб, по лбу струями потекла алая кровь.

Он отошёл, вновь насадился лбом на проволоку. Потом снова, не в силах преодолеть невидимую преграду. Скрипя зубами, начал толкать столб головой. Кровь лилась ручьём, превратив лицо в красную маску.

Затем он сел на землю и бессильно заплакал.

Я стоял и смотрел на его худое – чем-то похожее на моего родного брата – тело. Он уронил голову в окровавленные руки и плакал. А я стоял и смотрел.

Баба Надя сдала дом в аренду наркоманам – они ей наливали чарочку, а сами варили на печи какое-то варево, опосля им ширялись и расходились по улицам страшными коричневыми тенями, оставив дверь незатворённой.

Лёня с Сашкой куда-то съехали, к дальним родственникам. Баба Надя доживала свой век одна.

В одну из ночей в доме кого-то убивали. Долго и кроваво. Кажется, кого-то резали, и он уже не в состоянии был убежать – мог только кричать, переходя в безумие при чавкающих звуках ударов.

Телефон на всей улице был только в одном доме. Звонили в милицию.

Сонный голос на том конце трубки отвечал, что наряд милиции не приедет – нет бензина.

Это было начало девяностых. Шахта закрылась, работы не стало, и даже сигнальные красные огни на копрах потухли. На чёрной улице угадывались лишь силуэты.

Утром приехала «Скорая» – у милиции бензина так и не нашлось. Из дома вытащили трупы двух скончавшихся от кровопотери, после многочисленных ножевых, и двух, кто не очнулся после мака. Остальные, вестимо, успели разбежаться.

Баба Надя спала в своей каморке. Проснувшись, не слишком понимала, что происходит и кто все эти люди. Её, не слишком спрашивая, увезли в дом престарелых, и она лишь покорно кивала, когда её под руки вели к карете, сухую и ломкую, как ноябрьский стебель.

Наркоманское паломничество в дом прекратилось – вымерли все, кто мог ходить к джину на поклон. Дядя Лёня появлялся там лишь изредка. Пока не умер от запущенного туберкулёза, о котором не догадывался до самых последних дней, плюясь кровью.

А Сашка Мазила жив и по сей день.

Смотрел в соцсетях недавно его фотографии – всё такой же узнаваемый, маленький, проворный. И эти вольные, цыганские бродячие глаза, которым всё нипочём.

## Кушай, Миша

Владимир был для нас, 15-летних пацанов, авторитет.

Мы только-только подсели на металл-музыку, обзавелись страшными футболками, хотя ещё и не обзавелись хайрами. Прокололи старые джинсовки заклёпками. Поверх надписи «Лимпопо» на детской кепке мама пристрочила нашивку с черепами и костями.

А он – под сорок лет, древний старик, но в металле рубил фишку. Угощал нас кассетами, «Napalm Death» там всякий, «Carcass», «Kreator».

Сам он такой, не сказать, что внушительный – подтянутый, но мужик как мужик, лысеющий, рыжеватый, очки, свитер. Рабочий где-то на киевском Химволокне.

Ну, разве что прищур молодой и озорной.

Мы знали, что он сам играет в группе – правда, только и исключительно с его слов.

Спросили, с придыханием, как называется его группа и кто он там.

Он призадумался секунду, посмотрел влево и вверх и сказал, что «Оккупация». И что он там играет на гитаре, и на вокале голосит ещё иногда.

Гитары у него дома, правда, не было. Да и руки без характерных мозолей.

Да и вокала у него, если так разобраться, не было.

Говорю – мужик как мужик. Химволокно оно и есть Химволокно.

Но мы ушли от него в полном восторге. Всем хвастались, что знакомы с гитаристом и вокалистом «Оккупации». Той самой «Оккупации» – про которую, как выяснилось, никто ничего не слышал, конечно, но это, напротив, добавляло таинственности и ощущения причастности к чему-то секретному, для избранных.

Вскоре мы, правда, засомневались – а не разводят ли нас? Может, и нет никакой «Оккупации», а гитару Вова в жизни в руках не держал. И к микрофону не знает с какой стороны подходить, да и с соковыжималкой его невзначай небось спутает.

И мы ему в какой-то очередной визит, кассетами поменяться, как-то и обозначили – а дай нам послушать что-нибудь из «Оккупации».

Мы уже склонялись к тому, что Вова шарлатан, но он внезапно легко согласился – да давайте, поставлю.

Встал, порылся в кассетах, нашёл какую-то тысячу раз писанную-переписанную, вставил в оклеенный разными машинками и футболистами магнитофон, хрустнул кнопкой.

Из колонок повалил музон – глухой, хриплый, хреново записанный – но очень крутой.

Слышалось, что запись не из мажорных студий – вокал излишне гулкий, гитары чуть западают, да и вообще – слышно, что исполняется, может, и не сильно профессионально, но с душой и яростью.

Сыро, зло, на надрыв, буйно.

Мы замерли в восторге и ловили каждый звук.

Вова сидел в кресле, нога на ногу, скрестив руки, ностальгически улыбался и иногда что-то комментировал.

«Вот, про войну песня – её наш басист написал, он по-английски хорошо шпарит, спец-школа языковая, все дела. А пел я. Половину не знаю, как поётся – оттого слова некоторые глотаю».

И правда – вокал яростный, но порой сумбурный, мало что разберёшь. Слышно, что по-английски, но как на неродном.

«Мне Стас, ну, басист наш, собственно, говорит – Вовыч, ты, главное, на припев все силы собери и просто кричи – Wa-a-a-аг! Ну, война, то бишь. Ну я и кричал».

И правда, гитары захлебнулись, динамики пробил безумный крик. Война-а-а!

Нам уже было невыразимо стыдно за то, что мы в одних только мыслях, но в Воле усомнились.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.